Крестьянин как романтик

Златовратский Н.Н. Устои. История одной деревни. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1951. — 542 с.

В.В. Бабашкин

Владимир Валентинович Бабашкин, доктор исторических наук, профессор кафедры политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571, Москва, проспект Вернадского, 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2017-2-3-152-161

В современной отечественной исторической литературе по аграрным отношениям есть замечательная монография под названием «Крестьянин как политик»[1]. Но политик — это циничный прагматик, иначе — просто профнепригодность. Имеется ли у крестьянина такое качество? Конечно. Однако любой крестьянин — это также и поэт, романтик. К данному обстоятельству привлекал внимание своего читателя еще Г.И. Успенский в очерке «Поэзия земледельческого труда»[2]. Простая сумма политика и романтика дает что-то вроде «циничного романтика», а это уже слишком даже и для оксюморона, тут слышится какая-то сумасшедшинка[3]. И это совсем не то, что писал Ленин о двойственной природе крестьянина как труженика и собственника, работника и торгаша-спекулян-

1. *Яров С.В.* (1999). Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 1918–1919 гг.: политическое мышление и массовый протест. СПб.
2. http://uspenskiy.lit-info.ru/uspenskiy/proza/krestyanin-i-krestyanskij-trud/poeziya-zemledelcheskogo-truda.htm
3. Хотя нечто подобное встречается у Н.А. Бердяева в «Истоках и смысле русского коммунизма», когда он пытается понять, почему именно Ленину удалось возглавить народную революцию в России: «В характере Ленина были типически русские черты и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, практичность мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе... Он соединял в себе предельный максимализм революционной идеи... с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике». *Бердяев Н.А.* (1990). Истоки и смысл русского коммунизма. М. С. 94–95.

та, выдвигая утопический лозунг проведения такой политики, в которой бы разграничивались эти сущности[4].

Как такие вещи могут уживаться в душе русского крестьянина-общинника, по каким причинам, в каком сочетании, по какой формуле? Неторопливое чтение романа Николая Николаевича Златовратского «Устои» оказывает очень существенную помощь всем тем, кого эти непраздные и нескучные вопросы *действительно* интересуют. Я расскажу, как это помогало мне в поисках ответов, а заодно внесу посильный вклад небольшой «ретрорецензией» в восстановление справедливости.

Несправедливо то, что наша читающая общественность, включая профессиональных «россиеведов», плохо знает содержание этой главной работы Златовратского, в которой он показал себя как глубокий мыслитель и большой художник. Непременной частью гуманитарной образованности у нас всегда считалось умение понять экзальтированных героев Достоевского или сопереживать Анне Карениной в ее этико-эстетических метаниях. Думается, не менее сложной гуманитарной задачей и отнюдь не менее полезной духовной практикой была бы попытка понять суть душевной драмы простой крестьянки деревни Дергачи Ульяны Мосевны.

У меня есть версия, почему братья Карамазовы и Анна Каренина — несравнимо более популярные у нас литературные герои, чем эта «благомысленная» дергачевская крестьянка. И дело тут не столько в тиражах этих литературных произведений или в том, что Льва Толстого проходили в советской школе «как зеркало Русской революции». Хотя и в этом, конечно, тоже. Основное объяснение следует искать в глобальной теории прогресса, у которой, по выражению Т. Шанина, всего один недостаток: «она неправильно отражает суть мироздания»[5]. С точки зрения этой теории первостепенно то, чем живут представители образованного сословия и другие обитатели нарождавшейся в России городской цивилизации. А попытки привлечь читательское внимание к такой «уходящей натуре», как общинное крестьянство, мягко говоря, неактуальны; причем талантливые попытки еще и вредны, поскольку наносят ущерб глобалистским схемам. Но ведь в случае с «Устоями» речь идет об удивительно глубоком анализе ментальных особенностей недавних предков подавляющего большинства нынешних жителей России.

---

4. См.: *Ленин В.И.* Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 277. Ленин был, конечно, далек от такой метафизики, как «крестьянин-романтик». Однако через короткое время ему стало очевидно, что и эти стороны крестьянской двойственности разграничению никак не поддаются, и он благословил Земельным кодексом РСФСР 1922 г. обычное общинное крестьянское землевладение, а потом написал невнятную статью «О кооперации»...
5. Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке (2015). Под ред. В.В. Бабашкина. М. С. 110.

Так или иначе, а книги Златовратского были запрещены к выдаче в библиотеках еще с 1884 года — через год после завершения «Устоев», — очевидно, как весьма талантливо исполненное напоминание россиянам о патриархальном характере жизни основной массы населения их страны, о накопившихся за двадцать лет после «освобождения» деревенских проблемах, о непредсказуемом и неуправляемом поведении деревенских жителей. И запрет этот сохранялся до 1909 года. Вот уж где «зеркало революции»-то!

Между прочим, один из сполохов приближавшегося революционного пожара мастерски изображен писателем именно в «Устоях» в главе «Вольница» (с. 321–351) в виде спонтанно вспыхнувшей жестокой массовой драки в Дергачах. Не как прежде — на праздник «стенка на стенку», а долго копившееся и внезапно вскипевшее взаимное раздражение односельчан, что показалось Ульяне Мосевне особенно страшным. Но давайте по порядку — от дергачевского побоища до мучительных размышлений о нем главных деревенских романтиков, а также и еще кое о чем.

Вряд ли сам Златовратский, по-видимому, имевший хорошее представление о подобных деревенских сражениях, писал об этом в начале 1880-х годов как о приближавшейся народной революции. Между тем диагноз по этим симптомам он поставил верный: «Но едва почуялось в воздухе приближение этого вожделенного порядка (после неурядиц первых лет проведения крестьянской реформы 1861 г. — *В.Б.*), как вдруг всем мужикам сделалось отчего-то жутко. Их как будто испугала та математическая строгость и определенность, с которыми отмежевывались границы их полей. ...Деревню Дергачи, которой принадлежал Мосей, обуял именно такой ужас перед “определенностью”, когда почувствовалось приближение “порядка” за “неурядицей”» (с. 10–11)[6]. Этот ужас материализовался с прибытием в родные края молодого крестьянина по имени Петр и в той энергичной деятельности, которую он немедленно развернул. Молодым крестьянским парнишкой он за несколько лет до того уехал-таки в Москву, вопреки категорическому запрету деда искать заработок в большом городе. Уехал искать

6. Очень похоже на те эмоции, которые испытали крестьяне, когда в 1872 г. бывший барин А.Н. Энгельгардт прибыл из Петербурга в родовую усадьбу в Смоленской губернии и вознамерился навести порядок во взаимоотношениях с жителями соседних деревень. Помещик сам был сбит с толку, столкнувшись с шокирующим поведением мужиков, когда на сходе предложил им 30 рублей серебром за работу, которая едва стоила и половину. Но крестьяне, не умея толком объяснить природу своего негодования, просто привлекли своим маленьким «бунтом» внимание Энгельгардта к проблеме. А словами ему эту проблему после объяснил тоже своего рода «умственный» мужик Степан: нельзя, мол, здесь «по-петербургски» да «по-немецки» (т. е. за деньги), а нужно «из чести» (т. е. из взаимного уважения — как исстари повелось). *Энгельгардт А.Н.* (1987). Из деревни. 12 писем 1872–1887. М. С. 97-102.

свою судьбу, и вот теперь ее превратностями возвратился на родину «умственным» мужиком.

Отдельно стоит сказать, почему дед Мосей по прозванию Волк строго заказал своим сыновьям уходить в Москву на заработки. Нелюдимый и задумчивый, он служил у барина лесником, любил лес, буквально «влюбился» в молодую веселую барскую березовую рощу и умолил барина не продавать ее (пошел такой слух), а отпустить его «на сторону», с тем, что по возвращении он купит рощу. Вернулся через пять лет, купил, очень любопытно урегулировал с родной деревней Дергачи, расположившейся по соседству, поземельные отношения и отправился со всем своим семейством жить на новое место. Благодарные односельчане в порядке традиционной помощи разобрали и перевезли туда Мосеев дом и другие постройки. Это ли не образ крестьянина-романтика? Дергачевцы уважали Волка за «идею», за то упорство, с которым он ее воплощал, сумев приобрести у барина не только рощу, но и прилежащие земли. Однако в деревне ожидали, что, вернувшись из отхода с деньгами, он, по крайней мере, старшего из сыновей направит по своим стопам, а он коротко откомментировал свой жесткий запрет: «Греха много!» (с. 8).

Мосеев выселок зажил своей жизнью. Зная, что у Волков не столь остра проблема малоземелья, оборотистый староста дергачевской общины потихоньку пристраивал туда на житье некоторых общинников, которые по тем или иным причинам были миру в тягость. И они вписывались в эту, в общем-то, обустроенную жизнь, лишь укрепляя ее традиционные крестьянские устои. Образовался настоящий поселок — вполне благополучный. Деревенские прозвали его Волчьим поселком. Сюда-то и прибыл после своих московских приключений (которые, кстати, очень интересно описываются в части II романа — «Внук», с. 135–232) набравшийся ума Петр и из самых лучших намерений обрек это крестьянское Эльдорадо на скорую погибель.

Вот эта картина гибели (едва ли не в одночасье) идиллического Волчьего поселка — большая творческая удача писателя. Ему пришлось сплести в тугой узел целый ряд обстоятельств и факторов, чтобы читатель получил убедительное свидетельство того, чем в конечном итоге оборачивается вторжение денежных расчетов и формально-юридических регламентаций в традиционные поземельные отношения. Свидетельство убедительное и достоверное, читая, веришь: при подобном стечении жизненных обстоятельств ничего иного и быть не могло. А было так. Добродушный барин допустил какие-то неточности при оформлении сделки с Мосеем на прилегающую к роще землю. Барыня через тяжбу задумывает отыграть все назад. Об этом узнает «поумневший» в Москве Петр и замышляет свою коммерческую комбинацию, цель которой — осчастливить поселковую родню, имевшую по своей крестьянской наивности (недоумию) слабые перспективы отсудить у барыни свое

право. Но не только это. Есть у Петра и своя мечта/«идея». Будучи от природы весьма сметливым и обучаемым, хочет он всеми силами добиться уважительного, а не насмешливо-снисходительного отношения к себе со стороны «умственных», стать одним из них.

Чем не благородный мечтатель-романтик? Только вот способ, каким он решительно движется к осуществлению своей «идеи», отдает цинизмом. Его отец, Вонифатий Мосеич, — большак Волчьего поселка, традиционно обладающий правом принятия всех хозяйственных решений в общине. С первых дней пребывания сына в родном гнезде он проникается гордостью за то, каким умным тот стал, с каким уважением относились к Петру Вонифатьевичу в Москве (по словам прибывшего с ним мутного дельца) важные люди. Умные рассуждения сына действуют на большака завораживающе. «Да теперь скажи мне Петюшка только слово, — говорит он сестре Ульяне, — да я за ним куда хочешь пойду! Потому что это человек на редкость! Ему ото всех уважение, а не то что смешки...» (с. 96).

В отличие от других членов семьи и поселковой общины, Вонифатия ничто не смущает в задумке Петра: наверное, так по уму-то и надо. И он огорошивает собравшихся на сходку посельчан вопросом: «Да чья она такая? а? земля-то? Дедушка-то вон глухой да слепой сидит, а мы, дураки, в благодушии пребываем... А земля-то чья?» И от этого вопроса у Ульяны подогнулись колени и задрожали ноги[7]. А распропагандированный «умственным» сыном Вонифатий добивает собравшихся, сообщив, что Петюшка «нынче за Корявинскую пустошь полтораста серебром, как едину деньгу, отвалил. ...Потому что он в столице был да знал, что с землей делается, а мы здесь, дураки, сидели да мало видели. Вот чья земля-то! Еще надо попросить умственного человека разузнать, чья у нас земля-то!.. А мы расселись на ней, ровно и впрямь помещики! Да замест того, как умные люди поступают, чтобы дар-то божий за собой закрепить да оборот с ним сделать, мы, по бабьему-то разуму, еще чужаков на нее нагнали. Пора за ум взяться, а коли своего не хватает, так тех, у кого он есть, слушаться! Вот что! Еще большак-то — я!.. Какое распределение сделаю, так и будет! Худого не придумаю!» (с. 97).

Да, заставил сын недалекого большака-отца поверить, что задумано совсем не худо. И все же, чтобы сделать эту сцену объявления Вонифатием конца прежним порядкам в поселке более достоверной, писатель подчеркивает двойное опьянение большака

7. Именно этому вопросу суждено было стать менее чем через 20 лет по завершении Н.Н. Златовратским романа «Устои» главным вопросом, главным двигателем Русской революции, если исходить из крестьяноведческой концепции сути и смысла этой революции. См. об этом: *Кондрашин В.В.* (2014). Крестьянская революция в России 1902–1922 гг.: научный проект и научная концепция // Аграрная история XX века: историография и источники. Самара. С. 341–347.

(иначе бы и половину бы не сказал того, что произнес): от самогона и от того уважительного отношения, которое днем оказывали его сыну «умственные» люди села Доброе. Да плюс еще сумерки, скрывавшие напряженные лица выслушивавших все это односельчан, которым впервые предстояло ложиться спать не уверенными в завтрашнем дне (с. 98-99). Петр и себя самого все время убеждает, что «идея» отличная; рефреном звучит в его мыслях и скупых фразах, что он хочет/хотел, «чтобы все как лучше» (с. 96, 99, 126, 130, 131). А задумано было вот что. Земли Волчьего поселка, включая и удачно перехваченную у барыни Корявинскую пустошь, необходимо продать, согнать с них «чужаков» и изъять из пользования у дергачевских крестьян, и затем купить по бросовой цене бывшую барскую усадьбу по соседству: «Нынче дар-то божий, земли-то, весьма легко с молотка приобресть...» (с. 81). Там бы семья Волков и основала что-то вроде большой семейной фермы[8].

Надо ли говорить, что, в отличие от простака Вонифатия, совершенно очарованного тем, насколько его сын «продвинут» в земельном вопросе, Ульяну и двух других ее братьев такой расклад категорически не устраивал? Да и тех сельчан, которые в рассуждениях Петра фигурируют как «чужаки», — разумеется, тоже. Начинается длительная тяжба по разделу имущества, совершенно вымотавшая крестьян морально и материально. И к моменту массовой драки в Дергачах бывшие обитатели Волчьего поселка уже около двух лет живут в этой деревне в статусе бедняков. А родная сестра Петра Луша вместе со своим возлюбленным Иваном Забытым вообще пустились в бега и исчезли со страниц повествования.

Деревенская драка произвела на Ульяну особо тягостное впечатление. Эту свою героиню Златовратский наделяет каким-то особенно тонким устройством души, что, собственно, он и называет крестьянской романтикой. «Ульяна Мосевна, — пишет он, — была “благомысленная” женщина деревенского мира, старого закала, воспринявшая в свою душу все то чистое, любовное, мирное, устойное, что только выработал народный романтизм в суровую пору своей жизни...» (с. 257). Прилагательным «благомысленные» дергачевцы награждают тех своих односельчан, которых отличает не столько приверженность внешней атрибутике православной веры, сколько благородство и справедливость в повседневных делах и поступках, самоотверженная готовность помочь ближнему. Ульяна из таких; ее образ помогает писателю лучше донести до нас самую суть дедовских устоев и того, что происходит с ними во время описываемых событий.

Ульяну буквально убивает та неприязнь и даже ненависть отдельных дергачевцев, которая выплеснулась на улицу с дракой.

8. И опять трудно удержаться от аналогии. Ведь нечто подобное — только во всероссийском масштабе — задумал в ноябре 1906 г. другой Петр, Столыпин. И тоже хотел как лучше. А получилось, как у Петра из Волков. Да и реакция крестьянского мира в общем и целом была аналогичной.

Она убеждена: прежде такого не было. Один из ее братьев, деревенский силач и добряк, любивший когда-то возиться с маленьким племянником Петюшкой и покупавший ему пряники, по окончании затеянной Петром тяжбы бросается на него с криком: «Убью!», едва оттащили. И теперь в разгар уличного побоища кое-кто «заботливо» подбрасывает ему информацию, что Петр приехал в гости к местному кулаку Пиману, и этот простодушный сельский Геркулес, сопровождаемый некоторыми односельчанами, прорывается к кулацким воротам, провозглашая, что «убьет» и «передушит» всех кого ни попадя.

Крестьянский консерватизм хрестоматиен. Даже и сама крестьянская революция, по определению, направлена на консервацию прежних дедовских устоев, против всего того, что эти устои разрушает[9]. Волею автора романа обитатели Волчьего поселка на полтора десятилетия выпадают из повседневной жизни родных Дергачей, поддерживая там у себя прежние порядки, стараясь жить «по старой правде». Но как раз в это-то время во внешнем мире набирает силу «новая правда», и бывшие посельчане по-разному приспосабливаются к этой непривычной ситуации. Вонифатия в основном устраивает сытая беззаботная жизнь в почти барской усадьбе, которую все же отгрохал себе сын. Хотя и в этом случае ощущается какой-то внутренний дискомфорт и глубоко запрятанное сомнение в справедливости происходящего. Двое других братьев Ульяны категорически отказываются принимать эту новизну.

Сама же «благомысленная» женщина в силу своей романтической натуры стремится примирить в душе старое и новое, что у нее не очень получается. К примеру, она прекрасно видит, что любимый племянник Петр действовал из самых лучших побуждений, и ей хочется хоть как-нибудь оправдать его в глазах своих младших братьев, но это невозможно. Она остро нуждается в чьем-то совете-наставлении, как теперь жить, зачем она, сразу после того как стихла драка, и отправляется к другому дергачевскому правдоискателю — близкому ей по духу Мину Афанасьичу. Ульяна выговаривается перед старым приятелем, интуитивно чувствуя: уж он-то найдет способ облегчить ее смятенную душу. Лейтмотив ее взволнованного монолога: прежде была одна правда, и определить ее можно было через суд по обычаю, а теперь не то.

«Вот хоть бы суд взять, — рассуждает она... — В суде, говорят, правды мало, а все скажу: в мирском суде, по старине, все старики умели правду найти, потому знали правого, знали и виновного... Бывало, что ни случись: у мужа ли с женой, у отца ли с сыном, у соседа ли с соседом, — все рассудят, греха на совесть не беря, потому грехи-то были для всех видимые, прямые; дела-то были про-

9. Такое определение действий крестьянина как политика и революционера см., например, в: *Hobsbawm E.J.* (1973). Peasants and Politics // The Journal of Peasant Studies. October. Vol. 1. № 1. P. 3-22.

стые. А нынче... Вот виделась я с Иваном Федотычем из Доброго. Уж то ли не благомысленный был старик, строгих правил, сколько лет в судьях ходил, а теперь ушел... "Что так, спрашиваю, Иван Федотыч?" — "Нет, говорит, не могу". — "Отчего так?" — "А оттого, говорит, что по двум правдам судить нельзя". — "Как же так по двум правдам?" — "А так, говорит, теперь зайди ты к нам в суд и увидишь: станут перед тобой либо две неправды, либо две правды. Как их рассудишь? Пока ты руками разводишь, а негодный человек этому и рад. «Какая, говорит, у *вас* теперь правда? *Вашей правды уж теперь нет*: делай, коли так, по закону, а не по правде... Эй, писарь, какой такой есть закон? Есть закон, чтобы мне правого дожать?» — «Есть, говорит, по закону ты прав...» — «Ну так, говорит, с тем вы, старички, и останетесь...» Так вот оно как!"» (с. 374).

Второй центральный персонаж главы под названием «Романтики» (с. 351-378) Мин Афанасьич воплощает существенно иной по сравнению с Ульяной тип крестьянина-правдоискателя. Для последней дедовские устои — что-то вроде догмы, которой наступившая жизнь все время устраивает жесткие проверки, причем с переменным успехом. Для Мина «старая правда» — руководство к действию, он умеет применять ее творчески в многообразии житейских обстоятельств. И как бы ни относились другие дергачевцы к старому весельчаку, чаще всего в его публичных выступлениях и спорах (а он любит покрасоваться на публике) они видят и чувствуют: опять за Мином правда. Местный кулак, хозяйственный и немногословный Пиман Савельич у него в лучших и закадычных друзьях, и мы не слишком удивлены этому обстоятельству, вспоминая, что нечто подобное уже приходилось читать у Тургенева про Хоря и Калиныча. Эти такие разные мужики даже поклялись друг другу породниться, поженив Минова сына на красавице-дочке Пимана.

Вот к какому человеку пришла Ульяна в поиске душевного успокоения — и не напрасно. Мин начал было излагать в своей неунывающей манере обстоятельства возникновения уличного побоища. Вот-вот дойдет он до причинно-следственных связей — тогда, глядишь, и эта деревенская передряга найдет какое-никакое объяснение в канонах «старой правды». Но вдруг он осекся, вспомнив коечто, как раз связанное с будущей женитьбой сына, и понял: на этот раз ему, похоже, нечем успокоить свою собеседницу. Ему очень хотелось это сделать, но сфальшивить он не мог — она бы мгновенно услышала фальшь. Возникшую напряженную паузу внезапно прерывает привычная добродушно-лукавая и вызывающая улыбка Мина: «Хочу вот богу сходить помолиться!» И Ульяна понимает: скоро он уйдет из Дергачей, как не раз уходил и прежде, и, возможно, принесет из этого своего отхода новую вариацию на тему «старой правды». И ей вдруг становится легче, веселее...

Блестящим и по задумке, и по исполнению является эпилог романа (с. 485–528). Это письма девушки Лизы из обедневшей дво-

рянской семьи, у которой когда-то Петр в Москве снял комнатку на некоторое время. Этого времени ему хватило, чтобы глубоко разочароваться в образованных людях и понять: это совсем не та «умственность», к которой ему следует стремиться. Лиза стала учительницей в волостном центре той самой местности, в которой и разворачивались основные события романа. Она пишет своему старшему другу и наставнику по фамилии Пугаев, к которому, очевидно, когда-то испытывала романтическое чувство. Да и как не влюбиться, если у него есть своя «идея»? Он — народник, он убежден, что любит и знает народ, знает, что следует делать для достижения народного счастья. И сам убежден, и студенческую молодежь умеет в этом убедить. Письма Лизы он называет «историей нашей деревни» (с. 500). Сам же опасается ехать в деревню надолго; его пугает, что такие стройные и логичные идейно-теоретические выкладки могут пострадать от столкновения с грубой крестьянской реальностью.

Однако именно это и происходит в письмах Лизы. Она, например, показывает, в какую интересную фигуру реальной (не придуманной) сельской жизни превратился Петр — «тот “юный сын народа”, тот “интеллигентный парень”, тот “любопытный экземпляр”, которым мы так беззаветно “играли” во время *о*но, которого учили и дрессировали...» (с. 498). Судьбы основных героев романа так лихо закручиваются в этих письмах, что никакие народнические или либеральные социальные теории вместить это просто не в состоянии. Тот же Петр, например, используя свои новые возможности, опять затевает нечто, очень напоминающее столыпинскую аграрную реформу — только теперь уже в волостном масштабе. И последствия приблизительно таковы, какими они известны нам по истории аграрных отношений в России в первые десятилетия XX века (с. 523).

Смертельная болезнь дает Лизе душевную силу задать себе вопрос, который порождали пугаевские народнические воззрения и который прежде казался ей страшным. Мысленно обращаясь к той галерее крестьянских портретов, что набросала она в своих письмах, Лиза спрашивает себя: «Есть ли из них хоть одно существо, с которым бы я могла слиться как единое, нераздельное целое, без насилия над ним и над собой, с полным взаимным удовлетворением нравственных и умственных потребностей?» Сердце рвет лежащий на поверхности ответ: «Ни одного нет!» (с. 521–522). Но вспомнив Мина Афанасьича и его сына Яню — такого же беззаветного романтика, как и отец, она с облегчением понимает, что ответ этот недостаточно глубокий, не вполне верный, что в каждом из ее новых деревенских знакомцев есть что-то от Мина, от Яни...

Вывод, к которому Лиза приходит на основе своего личного опыта крестьяноведения, звучит как духовное завещание самого Златовратского, написанное еще в 1883 году последующим поколениям соотечественников: «Мне кажется, что исчезни из народа

это, что так целостно воплотилось в Яне и отце его Мине, бессильна будет оживить его и “земля”, ибо власть ее обратится тогда в страшную, могильную власть животного, хотя бы и мирного, прозябания... и, наконец, самая власть “ума”, власть интеллигенции превратится в сухое, вялое доктринерство или умственный деспотизм... И только одно *это*...

А что такое *это* — я не знаю, дорогой Пугаев, не знаю до сих пор, но я верю в *это*, мало того, я чувствую его... всем существом своим. Значит, *оно* реально... Что из того, что я теперь не могу определить *это*? Это даже лучше: значит, *оно* так глубоко...» (с. 527).

Peasant as a romantic

Vladimir Babashkin, professor Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 119571, Moscow, prospect Vernadskogo, 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru.